

— Леонид Алексеевич, вы чувствуете себя свободным?

— А если я скажу, что вообще не понимаю этого слова в контексте нашей сегодняшней болтовни? Есть, конечно, внешние параметры свободы. Они изложены, скажем, в Декларации прав и свобод человека, они непреложны: свобода слова, совести, вероисповедания, перемещения и т. д. Но само по себе это слово еще ничего не означает. Варлам Шаламов говорил: «Свободным можно быть и в тюрьме». Он имел в виду свободу внутреннюю. А она от внешних причин мало зависит.

— И все же. Если в обществе попираются элементарные права личности, это никак не способствует появлению внутренне раскованных людей. Мы ведь жили именно так очень долго.

— Конечно. Однако мы и сегодня все еще ведем себя, как дети. И понятие свободы воспринимаем на детском, инфантильном уровне. Разрешили—значит, можно. Руки развязаны—свободен. Мы опять снимаем пенку, верхний слой. До сути—далеко. Идет, например, некая игра в поколение. Многие молодые, по моему, просто поставили своей целью «сбросить старый хлам с корабля современности». Однако ведь все это уже у нас было. И не раз. Ниспровергали старых кумиров во имя воздвижения новых. Результат этого всегда плачевен. Сколько нас, «не помнящих родства»? Страна непохороненных людей... Корни этого печального явления—давнишние. Помните, ниспровержение классиков в 20-е годы?.. Маяковский...

— А теперь ниспровергается сам Маяковский...

— Но ведь он разный. В позднем творчестве—один. В лирике—другой. Сколько попыток докопаться, например, до причин его смерти. И личная драма, и семья Брик, и тайные сети ОГПУ. Все это, безусловно, надо знать, всему хочется найти ответ. Но вот беда—постоянно мы стремимся сформулировать версию, доведенную до степени легкой усвояемости населением. А не бывает так. Ведь мог же Маяковский позволить себе сказать: «Эй вы, небо, снимите шляпу!» Это же—не поза. Что-то за этим стоит.

— Наверное, в этом тоже признак внутренней независимости: относиться к художнику так, как он...

— ...настолько, насколько он хотел бы нам себя открыть. Это—главная доктрина, которую надо усвоить ребятишкам, замахнувшимся на крупное. Скандал—вещь привлекательная. Но на нем далеко не уедешь. Большие корабли в это время проплывают мимо. Пусть не всем они хороши, пусть неоднозначны. Но это—корабли и ими останутся. Шестидесятники, к примеру, свое

Леонид Филатов:

«РОБЕСПЬЕРОВ ДО ЧЕРТА, А РАБОТАТЬ НЕКОМУ»



дело сделали. Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина... Понимаете, они уже в вашем возрасте были кораблями. Боюсь, вы—еще более чудовищные дети несвободы, чем мы.

— Думаете, в моем поколении (а его с вашим разделяет десять—пятнадцать лет) никто ничего не делал? У вас был, хотя и короткий, но выход на аудиторию во время «оттепели». У нас—в 70-е—80-е не было никакого. Полное замалчивание, апатия, цинизм. И все же я знаю многих, кто сохранил позицию и совесть. И, уверяю вас, эти люди и сегодня не делают себе «имидж» лишь на разрушении и отрицании.

— Не сомневаюсь. Я вовсе не хочу искать хороших людей только в своем поколении или, скажем, в предыдущем. Вообще следующее поколение не может быть хуже предшествующего. Каждое в чем-то проявляет себя. Даже «потерянное поколение» служит как-то-то старту.

— И в каждом повторяются какие-то общие для всех нас черты...

— Несколько лет назад я сделал пьесу на основе произведений Салтыкова-Щедрина «Пестрые люди», «Губернские очерки», «Дневник провинциала в Петербурге». Параллели удивительные. Все катастрофически совпадает. Речь там идет о пореформенной России XIX века. Только-только обозначаются позиции русских либералов, консерваторов, демократов...

— «Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном...». Так, кажется, у Щедрина!

— Да я уже не говорю о

том, что встретил там слова «гласность», «перестройка». Но там ясно обозначено и какие возникают тональности, какие типы, как ведет себя пресса, наконец. Потрясающе все повторяется.

— И в поведении нашей прессы!

— Да. Вот хотя бы история, произошедшая недавно со мной. Газету называть не буду—газета, в общем, хорошая. Да и зачем? Тут важно, что сам случай характерен. Одним словом, я рассказывал журналистке о своей юности. Тогда я жил в Ашхабаде. Терся в местной русской газете. Печатали там какие-то переводы, стихи... Можете себе представить, что это были за стихи. Но от тех лет, от людей из газеты осталось на всю жизнь ощущение тепла, бескорыстия, дружелюбия. Этим людям, казалось, ничего не нужно было в жизни, кроме тенниса, сандалий и постоянного общения. Все, что есть,—на стол. Пиво, нехитрая закуска и—бесконечные разговоры. А параллельно с этим шла, конечно, и моя обычная жизнь, школьника-старшеклассника. Нормальные детские дела, в числе которых были и неизбежные потасовки, походы «квартал на квартал».

Об этом в моей беседе с журналисткой был всего лишь крохотный абзац. Но на страницах газеты он волею редактора вырос до следующего подзаголовка: «В юности Леонид Филатов жил в Ашхабаде и был хулиганом».

— Ну редакция, вероятно, хотела сделать вам комплимент.

— Вполне возможно. Я и посмеялся. Но автору материала было не до смеха. Она ведь

быстро миновал холодные, элегантные фойе нового здания Театра на Таганке, Леонид Филатов увлекает меня в бесконечный внутритеатральный лабиринт. Туда, в старый и маленький таганковский дом, где все начиналось. Незаметно для себя останавливаюсь перед дверью. Филатов открывает—мы в той самой комнате, которую никак не хочется назвать кабинетом. Скажем так, штаб Ю. Любимова. Все антикабинетно—нешикарная мебель, на кресле—эксцентрически наброшены пиджак и шарф. У стены—страноватые раскрашенные скульптурные головы. И сами стены! Пространство серой краски, испещренное автографами, каждый из которых—судьба нашего искусства, биография непримиримой мысли, позиция некупленного таланта, знак риска и свободы. Казалось, здесь витает сам неистребимый дух фронды. Но (вот она, беспощадная абстракция времени!) именно эта комната показала мне сегодня тихим оазисом. А имена со стен сигнализировали не о драке, но о достойной и спокойной духовной работе, о неких непреходящих ценностях, которые сегодня страшно потерять.

этого не писали. Понимаете? Не пи-са-ла! Это—наше вечное бесправие, и от бесправия—своевольно присвоенное право лезть в чужие мысли, в чужое дело. Мы все плохо воспитаны. Вот и я хочу в таком случае, цитируя Паниковского, спросить редактора: «А ты кто такой? Кто ты такой, чтобы корректировать чьи-то слова, чью-то судьбу, чтобы победно выносить оценки?»

— Об этом никто никого не спрашивает...

— ...И напрасно. Пресса делает много полезного, хорошего, талантливого. Но существует какая-то зловещая тень на пиру. Некая нахрапистая, заливчатая прыть. Слышны шаги нового, простите, хама. Есть, увы, такой тип и в молодой журналистике, и в критике. Главный «кайф» такого, маленького,—сшибить нечто, что повыше его. А ведь прием старый, исторически проверенный. Перед нами тот же большевик, комсомольчик, только с обратным знаком. Ему кажется, что он невероятно свободен. А эта свобода—того же свойства, что и раскованность известной части нынешнего отечественного кино. Вся свобода—снята с человека на экране последнюю одежду. И радость: не хуже, чем в Америке.

— Смотри,—говорит мне один молодой критик,—как в Америке пишут о «звездах». «Опять эта Барбара Стрейзанд (или Лайза Минелли?) показала нам свой кусок говядины». Никакого пиетета.

— Может быть, это естественная реакция на наш прежний, излишний пиетет!

— У нас, знаете, за окном другой пейзаж. Если я начну позволять себе перед своей

аудиторией то, что позволял себе перед своей, скажем, Элизабет Тейлор, то я знаю, что риску смертельно. У нас другие нравы, другая жизнь, иной менталитет.

Когда меня в беседах подталкивают к откровениям о своей первой любви, романах и т. д., я всегда думаю: зачем? Почему я должен открываться и выставлять при этом на всеобщее обозрение судьбы женщин, судьбу своей жены, наконец? И потом—кто будет все это слушать? Люди, которые я уважаю? Да никогда! Разве это интересно, например, Бэлле Ахмадулиной?

— Но ведь вы играете не только для нее.

— Я играю в первую очередь для самого себя. Мы привыкли к положению, когда искусство у нас—сервис. Сфера обслуживания. А Пушкин говорил:

Зависит от царя,
зависит от народа—
Не все ли нам равно!

Бог с ними, никому отчета не давать,
Себе лишь самому
служить и угождать...

Только так и можно заниматься искусством.

— Но, похоже, это там «у них»—больше сервис, раз можно так писать о Лайзе Минелли. Мы, выходит, больше любим своих актеров.

— Любили. И слагали мифы. Хотя уже тогда Володя Высоцкий мрачно шутил: «Свались я в метро замуровать, человек десять побегут звонить в «Скоро помощь», остальные стоят останутся глазами на мертвого Высоцкого».

— Как же все это укладывается в нас! Обезьянье любопытство и высшая любовь, почти обожествление!

— А так и укладывается. Это—наши физиономии, наши традиции.

Вот скажите мне, хорошо это или плохо—рушить памятники?

— Да уж чего хорошего... Вот и еще одно «гладкое место» появилось—на месте Дзержинского.

— Появилось. Хотя, конечно, дух разрушительства имеет свое объяснение. Разобрал же народ по кирпичику Бастилию. В символах тоталитаризма заключена большая отрицательная энергия. Хочется ее сбросить. Только как сбросить то, что является твоей историей. Наивна вера, что, разрушая идола, мы освобождаемся от самого явления. Оно было. И оно есть. Оно впиталось в наши поры. И вот орава взрослых людей наваливается на памятник, сбрасывает с души тяжкий камень. Понимаю. Но хочу спросить: «Полегчало?» И еще: ломать мы умеем, делаем это быстро. А построить? Причем за столь же короткий срок и что-нибудь стоящее? Свобода рушить... Как все просто и доступно!

— В вашей картине «Сукины дети» бунт устраивают актеры, люди самой несвободной профессии.

— Да, вся моя картина—об этом! О нашем понимании свободы, о наших параметрах человеческого достоинства, о нашем отношении к художнику, к «странному» человеку. Критик Н. Казьмина писала об актере: «Среди нас прошел некто странный. И кончил жизнь дивную, тяжелую, мучительную...». Мои герои грубо размазаны, смешно одеты. И все же они—не жалкие клоуны, но эльфы. И мир их—не складный, смешной, все равно загадочен.

— Эту мысль вы относите и к нашим писателям?

— Не ко всем, конечно. Даже среди наших так называемых «почвенников» есть разные фигуры—по степени таланта, по человеческим параметрам. Беда, что многими руководят лишь амбиции.

Взять хотя бы авторов печально знаменитого «Слова к народу». Вам не кажется, что сам факт претензий подобным образом обращаться к народу—пошлость. Под таким обращением должны стоять минимум имена: Александр Невский, Петр I, Лев Толстой, Пушкин... А раз ты не Пушкин—надо это понимать по крайней мере.

— И все же я иногда пытаюсь встать на место отцов, большая часть жизни которых—позади. Легко ли им все менять: привычный строй мысли, уклад жизни, пристрастия, антипатии?

— Вы правы. История неумо-

лима. От ее поворотов многим больно. Не должно быть разухабистости и наглости в обращении с людьми старшего поколения. Это сводит на нет самые благородные помыслы. Нельзя безоговорочно презирать все, что было до тебя, нельзя зачеркивать смысл чужих жизней. Тысячу раз прав в этом отношении Никита Михалков. Его много раз на «творческих встречах» подталкивали к оценке личности отца. И он как-то ответил: «Я к категории Павликов Морозовых не принадлежу». Ту же позицию он занял на первом, «революционном» съезде Союза кинематографистов, когда отказался травить Бондарчука. В самом ниспровергательстве тогда было много справедливого, но и изначально заложенная некрасивость была. Она аукнулась потом, и очень сильно. А Адабашян рассказывал, как зашел недавно на «Мосфильм» и не встретил там ни одного знакомого лица. Добро бы—молодежь, так нет—лысеющие дяди. Все снимают кино. Неужели ради этого стоило скидывать Бондарчука?

— Вы об этом будете снимать новую картину?

— Написал сценарий. Название политическое: «Свобода или смерть!» А подзаголовок «Амурные похождения Толика Парамонова». История, как и «Сукины дети», двуслойная, приправленная фантазией, сказкой. Хотя герой, грубо говоря, типичен. Отечественный писатель, уставший от своего тяжкого Отечества, уезжает в Париж. Но увозит с собой туда прежний образ мыслей, наши вкусы, наши амбиции, непримиримость, лень, позерство. В Париже ему говорят: «Знаем мы таких умников. Работать не хотят, языка учить не желают. Дескать, примите меня таким, каков я есть». Понимаете, он все свое увез с собой. Зачем тогда уезжал? Есть в сценарии такая фраза, звучит грубее, но, скажем, литературно: «Робеспьеров до черта, а работать некому». К сожалению, этим заражена страна...

— Эта мысль вы относите и к нашим писателям?

— Не ко всем, конечно. Даже среди наших так называемых «почвенников» есть разные фигуры—по степени таланта, по человеческим параметрам. Беда, что многими руководят лишь амбиции.

Взять хотя бы авторов печально знаменитого «Слова к народу». Вам не кажется, что сам факт претензий подобным образом обращаться к народу—пошлость. Под таким обращением должны стоять минимум имена: Александр Невский, Петр I, Лев Толстой, Пушкин... А раз ты не Пушкин—надо это понимать по крайней мере.

— И все же я иногда пытаюсь встать на место отцов, большая часть жизни которых—позади. Легко ли им все менять: привычный строй мысли, уклад жизни, пристрастия, антипатии?

— Вы правы. История неумо-

лима. От ее поворотов многим больно. Не должно быть разухабистости и наглости в обращении с людьми старшего поколения. Это сводит на нет самые благородные помыслы. Нельзя безоговорочно презирать все, что было до тебя, нельзя зачеркивать смысл чужих жизней. Тысячу раз прав в этом отношении Никита Михалков. Его много раз на «творческих встречах» подталкивали к оценке личности отца. И он как-то ответил: «Я к категории Павликов Морозовых не принадлежу». Ту же позицию он занял на первом, «революционном» съезде Союза кинематографистов, когда отказался травить Бондарчука. В самом ниспровергательстве тогда было много справедливого, но и изначально заложенная некрасивость была. Она аукнулась потом, и очень сильно. А Адабашян рассказывал, как зашел недавно на «Мосфильм» и не встретил там ни одного знакомого лица. Добро бы—молодежь, так нет—лысеющие дяди. Все снимают кино. Неужели ради этого стоило скидывать Бондарчука?

— Все-таки есть в обществе люди, своими убеждениями и действиями вызывающие чувство надежности.

— Есть люди спокойного баланса. Наша общая растворенность в огромном территориальном и духовном пространстве (а она не исчезла с приходом суверенитетов, слишком долго мы были вместе) заставляет каждого искать свою модель. Между прочим, поразительные взлеты духа наблюдались у нас и в самые что ни на есть «имперские» времена. Как прожили свою жизнь Платонов, Шостакович, Пастернак, Ахматова!

Всегда важен масштаб отдельной личности, его культурный и нравственный потенциал. Каждый ищет духовной опоры. Но одни (как часть наших писателей) находят ее в том, чтобы воевать со всеми, кто не разделяет их взглядов. Другие, молодые по преимуществу, бросились сшибать старые авторитеты.

И, слава Богу, есть третьи. Они сохраняют духовный, нравственный баланс. Совесть, культуру, человечность. Что бы ни говорил Д. С. Лихачев, к нему не пристанет ярлык ни шовиниста, ни предателя интересов народа. Понимаете, он по-настоящему свободен. И от догм, и от моды, и от синоптических политических нужд. Такие люди встречаются в любом общественном слое, не только в элитарном. Вот на них-то все и держится. Они-то и удерживают общество от реальной угрозы беспамятства, отторжения отцов, нахрапистого хамства. От того, чтобы мы окончательно не превратились в «страну Павликов Морозовых».

Беседу вела

Наталья КАМИНСКАЯ.